

ВЕСЬ ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ

УЕДИНЕННОЕ

Почти на праве рукописи

Шумит ветер в полночь и несет листы... Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей восклицания, вздохи, полумысли, полочувства... Которые, будучи звуковыми обрывками, имеют ту значительность, что «сошли» прямо с души, без переработки, без цели, без преднамеренья, — без всего постороннего... Просто, — «душа живет»... т. е. «жила», «дохнула»... С давнего времени мне эти «нечаянные восклицания» почему-то нравились. Собственно, они текут в нас непрерывно, но их не успеваешь (нет бумаги под рукой) заносить, — и они умирают. Потом ни за что не припомнишь. Однако кое-что я успевал заносить на бумагу. Записанное все накапливалось. И вот я решил эти опавшие листы собрать.

Зачем? Кому нужно?

Просто — мне нужно. Ах, добрый читатель, я уже давно пишу «без читателя», — просто потому, что *нравится*. Как «без читателя» и издаю...

Просто, так нравится. И не буду ни плакать, ни сердиться, если читатель, ошибкой купивший книгу, бросит ее в корзину (выгоднее, не разрезая и ознакомившись, лишь отогнув листы, продать со скидкой 50 % букинисту).

Ну, читатель, не церемонюсь я с тобой, — можешь и ты не церемониться со мной:

— К черту...

— К черту!

И au revoir до встречи на том свете. С читателем гораздо скучнее, чем одному. Он разинет рот и ждет, что ты ему положишь? В таком случае он имеет вид осла перед тем, как ему зареветь. Зрелище не из прекрасных... Ну его к Богу... Пишу для каких-то «неведомых друзей» и хоть «ни для кому»...

Когда, бывало, меня посещали декаденты, — то часу в первом ночи я выпускал их, бесплодных, вперед, — но задерживал последнего, доброго Виктора Петровича Протейкинского (учитель с фантазиями) и показывал между дверьми...

У человека две ноги: и если снять калоши, положим, пятерым — то кажется ужасно много. Между дверями стояло такое множество крошечных калошек, что я сам дивился. Нельзя было сосчитать скоро. И мы оба с Протейкинским покатывались со смеху:

— Сколько!..

— Сколько!..

Я же всегда думал с гордостью «*civis romanus sum*»¹. У меня за стол садится 10 человек, — с прислугой. И все кормятся моим трудом. Все около моего труда *нашли место в мире*. И вовсе *civis rossicus*² — не «Герцен», а «Розанов».

Герцен же только «гулял»...

Перед Протейкинским у меня есть глубокая и многолетняя вина. Он безукоризненно относился ко мне, я же о нем, хотя только от утомления, сказал однажды грубое и насмешливое слово. И оттого, что он «никогда не может кончить речь» (способ речи), а я был устал и не в силах был дослушивать его... И грубое слово я сказал *заочно*, когда он вышел за дверь.

* * *

Из безвестности приходят наши мысли и уходят в безвестность.

Первое: как ни сядешь, чтобы *написать*

¹ Я — римский гражданин (*лат.*).

² Русский гражданин (*лат.*).

то-то, — сядешь и напишешь совсем другое.

Между «я хочу сесть» и «я сел» — прошла одна минута. *Откуда же* эти совсем другие мысли на *новую тему*, чем с какими я ходил по комнате, и даже *садился, чтобы их именно* записать...

* * *

Сев задом на ворох корректур и рукописей и «писем в редакцию», М. заснул:

И снится ей долина
Дагестана:

Лежал с свинцом в
груди...

Сон нашего редактора менее уныл: ему грезятся ножки хорошенькой актрисы В-ской, которая на все его упрашивания отвечает:

Но я другому отдана,
И буду век ему
верна.

Вопрос вертится, во сне, около того, как же преодолеть эту «Гатьянину верность», при которой куда же деваться редакторам, авиаторам, морякам и прочим людям, не напрасно «копящим небо»?

Открываю дверь в другой кабинет... Роскошно отделан: верно, генерала М. В кресле, обшитом чудною кожей темного цвета, сидит Боря. Сидит без сюртука, в галстухе и жилете. Пот так и катится... Вспоминает, как пела «Варя Панина» и как танцевала Аннушка. Перед ним длинная полоса набора.

— Ты, Боря, что это читаешь?

— «Внутреннюю корреспонденцию».

— Чего же ты размышляешь? «Одобри» все сразу.

Нельзя. В номер не влезет.

— Так пошли ее к матери...

.....

.....

— Тоже нельзя. Читатель рассердится.

— Трудное дело редакторское. С кем же мне отправляться?..

(В нашей редакции).

* * *

Как будто этот проклятый Гуттенберг облизал своим медным языком всех писателей, и они все обездушались «в печати», потеряли лицо, характер. Мое «я» только в рукописях, да «я» и всякого

писателя. Должно быть, по этой причине я питаю суеверный страх рвать письма, тетради (даже детские), рукописи — и ничего не рву; сохранил, до единого, все письма товарищей-гимназистов; с жалостью, за величиной вороха, рву только свое, — с болью и лишь иногда.

(Вагон).

* * *

Газеты, я думаю, так же пройдут, как и «вечные войны» средних веков, как и «турнюры» женщин и т. д. Их пока поддерживает «всеобщее обучение», которое собираются сделать даже «обязательным». Такому с «обязательным обучением», конечно, интересно прочитать что-ни-будь «из Испании».

Начнется, я думаю, с *отвычки* от газет... Потом станут считать просто неприличием, малодушием («*ragva anima*») чтение газет.

— Вы чем живете? — А вот тем, что говорит «Голос Правды» (выдумали же!)... или «Окончательная Истина» (завтра выдумают). Услышавший будет улыбаться, и вот эти улыбки мало-помалу проводят их в могилу.

Если уж читать, то, по моему мнению, только

«Колокол», — как Василий Михайлович, подражая Герцену, выдумал издавать свой орган.

Этот Василий Михайлович во всем красочен. Дома (я слышал) у него сделано распоряжение, что если дети, вернувшись из гимназии, спросят: — «Где папа», — то прислуга не должна отвечать: «барина нет дома», а «генерала нет дома» Это, я вам скажу, если на Страшном суде Христовом вспомнишь, то рассмеешься.

Василия Михайловича я всегда почему-то любил. Защищал его перед Толстым. И что поразительно: он прост, и *со всеми прост*, не чванлив, не горд, и вообще имеет «христианские заслуги».

Неразрешим один вопрос, т. е. у него в голове: какой же земной чин носят ангелы? Ибо он не может себе представить ни одного существа без чина. Это как Пифагор говорил: «нет ничего *без своего числа*». Ау В.М. — «без своего чина», без положения в какой-нибудь иерархии.

Теперь еще: — этот «генерал» ему доставляет столько бескорыстного удовольствия. России же ничего не стоит. Да я бы из-за одного В.М. не позволил отменить чинов. Кому они приносят вред? А штафирок довольно, и, ведь, никому не запрещено ходить с «адвокатским значком». Почему это тоже не «чин» и не «орден»? «Заслужено» и «социальный ранг». Позвольте же

Василию Михайловичу иметь тот, какой он желает. Что за деспотизм.

Иногда думают, что Василий Михайлович «карьерист». Ни на одну капельку. Чин, службу и должность он любит как *неотделимое души своей*. О нем глубоко сказал один мудрый человек, что, «размышляя о том, *что такое русский человек*, всегда нужно принять во внимание и Василия Михайловича». Т. е. русский человек, конечно, — *не только «Скворцов», но он между прочим — и «Скворцов»*.

(За нумизматикой).

* * *

«Конец венчает дело»... показывает его *силу*, Боже, неужели договорить: «и показывает его *правду*»?.. Что же стало с «русской реформацией»?!! Один купил яхту, другой ушел в нумизматику, третий «разлетается по границам»... Епископы поспешили к местам служения, и, слышно, вместо былой «благодати» ссылаются на последний циркуляр министерства внутренних дел. Боже, что же это такое? Кое-кто ушел в сектантство, но посылает потихоньку статьи в «Нов. Вр.», не расходясь отнюдь с редакцией в *остром церковно-писательском вопросе* (по поводу смерти Толстого). Что же это такое? Что же

это такое?

Казнить?

Или сказать с Тургеневым: — «Так кончается все русское»...

(За нумизматикой, 1910 г.).

* * *

Посмотришь на русского человека острым глазком... Посмотрит он на тебя острым глазком...

И все понятно.

И не надо никаких слов.

Вот чего нельзя с *иностранцем*.

(На улице).

* * *

Стоят два народа соседние и так и пылают гневом:

— Ты чему поклоняешься, болван?! — *Кумиру*, содеянному руками человеческими, из меди и дерева, как глаголет пророк (имя рек) в Писании. Я же поклоняюсь пречистым *иконам*, болван и нехристь...

Стоит «нехристь» и хлопает глазами, ничего

не понимая. Но напоследок испугался, снял шляпу, и со всемордовским усердием земно поклонился перед Пречистым Образом и затеплил свечку.

Иловайский написал новую главу в достопамятную свою историю: «Обращение в христианство мордвы», «вотяков», «пермяков».

Племянник (приехал из «Шихран», Казанской губ.) рассказывал за чаем: «В день празднования вотяцкого бога (кажется, Кереметь), коего кукла стоит на колокольне в сельской церкви, все служители низшие, дьячок, пономарь, сторож церковный, запираются под замок в особую клеть, и сидят там весь день... И сколько им денег туда (в клеть) вотяки накидают!!! Пока они там заперты, вотяки празднуют перед своим богом...» Это — день «отданья язычеству», как у нас есть «отданье Пасхе». Вотяки награждают низших церковнослужителей, а отчасти и со страхом им платят, за то, что они уступают один день в году их «старинке»... В «клетях» православные сидят как бы «в плену», в узилище, в тюрьме, даже (по-ихнему) «в аду», пока их старый «бог» (а по-нашему «чёрт») выходит из христианского «узилища», чтобы попраздновать со своим народцем, с былыми своими «поклонниками». Замечательный обычай, сохранившийся до нашего 1911 года.

Наша литература началась с сатиры (Кантемир), и затем весь XVIII век был довольно сатиричен.

Половина XIX века была патетична.

И затем, с 60-х годов, сатира опять первенствовала.

Но никогда не была так исключительна, как в XVIII.

Новиков, Радищев, Фонвизин, затем через 1/2 века Щедрин и Некрасов, имели такой успех, какого никогда не имел даже Пушкин. В пору моих гимназических лет о Пушкине даже не вспоминали, — не то, чтобы его читать.

Некрасовым же зачитывались до одурения, знали каждую его строчку, ловили каждый стих. Я имел какой-то безотчетный вкус не читать Щедрина, и до сих пор не прочитал ни одной его «вещи». «Губернские очерки» — я даже самой статьи не видел, из «Истории одного города» прочел первые 3 страницы и бросил с отвращением. Мой брат Коля (учитель истории в гимназии, человек *положительных идеалов*) — однако, зачитывался им и любил читать вслух жене своей. И вот, проходя, я слышал: «Глумов же сказал»... «Балалайкин отвечал»: и отсюда я знаю, что это — персонажи Щедрина. Но меня никогда не тянуло ни дослушать, что же *договорил* Глумов, ни самому

заглянуть. Думаю, что этим я много спас в душе своей.

Этот ругающийся вице-губернатор — отвратительное явление. И нужно было родиться всему безвкусию нашего общества, чтобы вынести его.

Позволю себе немного поинквизиторствовать: ведь не пошел же *юноша* -Щедрин по судебному ведомству, в мировые посредники, не пошел в учителя гимназии, а, как Чичиков или Собакевич, выбрал себе «стул, который не проваливается» — министерство внутренних дел. И дослужился, т. е. его все «повышали», до вице-губернатора: должность не маленькая. Потом в чем-то «разошелся с начальством», едва ли «ратуя за старообрядцев» или «защищая молодых студентов», и его выгнали. «Обыкновенная история»...

Он сделался знаменитым писателем. Дружбы его искал уже Лорис-Меликов, губернаторы же были ему «нипочем».

Какая разница с судьбой Достоевского.

(За нумизматикой).

* * *

С бороденочкой, с нежным девичьим лицом, А.П. У-ский копался около рясы, что-то тыкая и

куда-то не попадая.

— Вам булавок? Что вы делаете?

— Не надо. С собой взял. А прикрепляю я медаль с портретом Александра III, чтобы идти к митрополиту. И орден.

Наконец, вот он: и крест, и портрет Царя на нем. Стоит, улыбается, совсем девушка.

Как я люблю его, и непрерывно люблю, этого мудрейшего священника наших дней, — со словом твердым, железным, с мыслью прямой и ясной. Вот бы кому писать «катехизис».

И сколько веков ему бытия, — он весь «наш», «русский поп».

И вместе он из пророческого рода, весь апокалипсичен. Вполне удивительное явление.

Хочу, чтобы после моей смерти его письма ко мне (которые храню до единого) были напечатаны. Тогда увидят, какой это был правоты и чести человек. Я благодарю Бога, что он послал мне дружбу с ним.

(За нумизматикой; А.П. Устьянский).

* * *

Сажусь до редакции. Был в хорошем настроении.

— Сколько?

— Тридцать пять копеек.

— Ну, будет тридцать.

Сел и, тронув за спину, говорю:

— Как же это можно? Какой ты капитал запросил?

Везет и все смеется, покачивая головой. Мальчишка, — однако лет восемнадцати. Оглядывается, лицо все в улыбке:

— Как же, барин, вы говорите, что я запросил «капитал»? Какой же это «капитал»... тридцать пять копеек?!

Мотает головой и все не может опомниться.

— Ты еще молод, а я потрудился. Тридцать пять копеек — большой капитал, если самому заработать. Другой за тридцать пять копеек весь день бьется.

— Оно, положим, так, — сделался он серьезным. И дотронулся до кнута. — «Но!»

Лошаденка бежала.

(На улице).

* * *

Нина Руднева (родств.), девочка лет 17, сказала в ответ на *мужское, мужественное, крепкое* во мне:

— В вас *мужского* только... *брюки*...

Она оборвала речь...

Т. е. *кроме одежды* — неужели все *женское*? Но я никогда не нравился женщинам (кроме «друга») — и это дает объяснение антипатии ко мне женщин, которою я всегда (с гимназических пор) столько мучился.

* * *

Живи каждый день так, как бы ты жил всю жизнь именно для этого дня.

(В дверях, возвращаясь домой).

* * *

Секрет писательства заключается в вечной и *невольной* музыке в душе. Если ее нет, человек может только «сделать из себя писателя». Но он не писатель...

.....
.....

Что-то течет в душе. Вечно. Постоянно. Что? почему? Кто знает? — меньше всего автор.

(За нумизматикой).

* * *

Таких, как эти две строки Некрасова:

Еду ли ночью по
улице темной, —
Друг одинокий!.

нет еще во всей русской литературе. Толстой, сказавший о нем, что «он *нисколько* не был поэт», не только обнаружил мало «христианского смирения», но не обнаружил беспристрастия и простого мирового судьи. Стихи, как:

Дом не тележка у
дядюшки Якова,

народнее, чем все, что написал Толстой. И вообще у Некрасова есть страниц десять стихов *до того народных*, как этого не удавалось ни одному из наших поэтов и прозаиков.

Вот эти приблизительно 2/10 его стихотворений суть *вечный вклад* в нашу литературу и *никогда не умрут*.

Значение его, конечно, было чрезвычайно преувеличено («выше Пушкина»). Но и о нем нужно поставить свое *nota bene*: он был «властителем дум» поколения чрезвычайно деятельного, энергичного и *чистосердечного*. Не худшего из русских поколений; — и это есть *исторический факт*, которого никакою слепотою

не обойдешь. «Худ или хорош Катилина — а его нужно упомянуть», и упомянет всякий «Иловайский», тогда как «Иловайского» никто не упоминает. Это — одно. Но и затем вот эти 2/10 стихов: они — народны, просты, естественны, *сильны*. «Муза мести и печали» все-таки сильна; а где сила, страсть — там и *поэзия*. Его «Власу» никакой безумец не откажет в поэзии. Его «Огородник», «Ямщик», «Забытая деревня» прелестны, удивительны, и были новы *по тону* в русской литературе. Вообще Некрасов создал *новый тон* стиха, *новый тон чувства*, *новый тон* и звук *говора*. И в нем удивительно много великорусского: таким «говором», немножко хитрым и нахальным, подмигивающим и уклончивым, не говорят *наверно ни* в Пензенской, ни в Рязанской губерниях, а только на волжских пристанях и базарах. И вот эту местную черту он ввел в литературу и даже в стихосложение, сделав и в нем огромный и смелый новый шаг, на время, *на одно поколение* очаровавший всех и увлекший.

(За нумизматикой).

* * *

Боль жизни гораздо могущественнее *интереса к жизни*. Вот отчего религия всегда будет одолевать *философию*.

(За нумизматикой).

* * *

Говорят, слава «желаема». Может быть, в молодом возрасте. Но в старом и даже пожилом ничего нет отвратительнее и несноснее ее. Не «скучнее», а именно болезнетворнее.

Наполеон «славолюбивый» ведь, в сущности, умер почти молодым, лет 40.

Как мне нравится Победоносцев, который на слова: «Это вызовет дурные толки в обществе», — остановился и — не плюнул, а как-то выпустил слюну на пол, растер и, ничего не сказав, пошел дальше. (Рассказ, негодующий, — о нем свящ. Петрова).

(За нумизматикой).

* * *

В мысль проституции, — «против которой все бессильны бороться», — бесспорно входит: «я принадлежу всем»: т. е. то, что входит в мысль писателя, оратора, адвоката; — чиновника «к услугам государства». Таким образом, с одной стороны, проституция есть «самое социальное явление», до известной степени прототип *социальности*, — и даже можно сказать, что геі

publicae natae sunt exfeminis publicis, «первые государства родились из инстинкта женщин проституировать»... По крайней мере, это не хуже того, что «Рим возвеличился от того, что поблизости текла река Тибр» (Моммсен) или «Москва — от географических особенностей Москвы-реки». А с другой стороны, ведь и *действительное* существо актера, писателя, адвоката, даже «патера, который *всех* отпевает», — входит психология проститутки, т. е. этого и равнодушия ко «всем», и ласковости со «всеми». — Вам похороны или свадьбу? — спрашивает вошедшего поп, с равно спокойной, неопределенной улыбкой, готовой перейти в «поздравление» или «сожаление». Ученый, насколько он *публикуется*, писатель, насколько он *печатается* — суть, конечно, проституты. Профессора все-конечно и только *prostitues chercheurs*³. Но отсюда не вытекает ли, что «с проституцией нельзя справиться», *как* и с государственностью, печатью, etc., etc!.. И с другой стороны, не вытекает ли: «им надо все простить» и... «надо их оставить». Проституцию, по-видимому, «такую понятную» на самом деле невозможно обнять умом по обширности мотивов и

³ Проститулирующие грешники (*фр.*).

существа. Что она *народнее и метафизичнее*, напр., «ординарной профессуры» — и говорить нечего... «Орд. профессура» — легкий воробышек, а проституция... черт ее знает, может быть, даже «вещая птица Гамаюн».

В сущности, вполне метафизично: «самое *интимное* — отдаю *всем*»... Черт знает что такое: можно и убить от негодования, а можно... и бесконечно задуматься. — «Как вам будет угодно», — говоря заглавием шекспировской пьесы.

(За нумизматикой).

* * *

На цыпочках, с довольным лицом, подходил к нам Шварц или Шмидт, и проговорил с акцентом:

— Сегодня будут *мозги*.

Это в разрежение вечного «крылышка гуся», т. е. кости, обтянутой шероховатой кожей, которую мы обгладывали

без божества, без
вдохновенья.

И смеялись мы за обедом с Константином Васильевичем (Вознесенским) этим «мозгам».

Кухмистер радовался, что давал нам нечто эlegantное.

Немцу- утешение, но нам, студентам, скорбь. Ну, мозги съели. Но раз у него я чуть не отравился куском говядины (в щак), очевидно — гнилым. Едва проглотил, со мной что-то необыкновенное сделалось: точно съел жабу. И весь день, чуть ли не два, был полуболен.

(В универс.).

* * *

Какая ложная, притворная жизнь Р.; какая ложная, притворная, невыносимая вся его личность. А гений. Не говорю о боли: но как физически почти невыносимо видеть это сочетание гения и уродства.

Тяжело ли ему? Я не замечал. Он кажется вечно счастливым. Но как тяжело должно быть у него на душе.

Около него эта толстая красивая женщина, его поглотившая — как кит Иону: властолюбивая, честолюбивая и в то же время восторженно-слащавая. Оба они погружены в демократию и — только и мечтают о том, как бы получить заказ от двора. Точнее, демократия их происходит от того, что они давно не получают заказов от двора (несколько строк в ее мемуарах).

И между тем он гений вне сравнений с

другими, до него бывшими и современными.

Как это печально и *страшно*. Верно, я многого не понимаю, так как это мне кажется *страшным*. Какая-то «воронка в глубь ада»...

(На обороте транспаранта).

* * *

Малую травку родить — труднее, чем разрушить каменный дом.

Из «сердца горестных замет»: за много лет литературной деятельности я замечал, видел, наблюдал из прихода-расходной книжки (по изданиям), по «отзывам печати», что едва напишешь что-нибудь насмешливое, злое, разрушающее, убивающее, — как все люди жадно хватаются за книгу, статью.

— «И пошло и пошло»... Но с какою бы любовью, от какого бы чистого сердца вы ни написали книгу или статью с *положительным содержанием*, — это лежит мертво, и никто не даст себе труда даже развернуть статью, разрезать брошюру, книгу.

— «Не хочется» — *здесь*; «скучно, надоело».

— Да что «надоело»-то? Ведь вы не читали?

— «Все равно — надоело. Заранее знаем»...

— «Бежим. Ловим. Благодарим» — *там*.

— Да за что «благодарите»-то? Ведь *пало* и

задавило, или падет и задавит ?

— «Все равно... Весело. Веселее жить». Любят люди пожар. — Любят цирк. Охоту. Даже когда кто-нибудь *тонет* — в сущности, любят смотреть: сбегаются.

Вот в чем дело.

И литература сделалась мне противна.

(За нумизматикой).

* * *

Конечно, *не использовать* такую кипучую энергию, как у Чернышевского, для государственного строительства — было преступлением, граничащим со злодеянием. К Чернышевскому я всегда прикидывал не те мерки: *мыслителя, писателя...*, даже *политика*. Тут везде он ничего *особенного* собою не представляет, а иногда представляет смешное и претенциозное. Не в этом дело: но в том, что с самого Петра (I-го) мы не наблюдаем еще природы, у которой каждый час бы *дышал*, каждая минута *жила*, и каждый шаг обвеян «заботой об отечестве». Все его «иностранные книжки» — были чепуха; реформа «Политической экономии» Милля — кропанье храброго семинариста. Всю эту

галиматью ему *можно* было и *следовало* простить и воспользоваться не головой, а *крыльями* и *ногами*, которые были вполне удивительны, не в уровень ни с какими; или, точнее: такими «ногами» обладал еще только кипучий, не умевший остановиться Петр. Каким образом наш вялый, безжизненный, не знающий, *где* найти «энергий» и «работников», государственный механизм не воспользовался этой «паровой машиной» или, вернее, «электрическим двигателем» — непостижимо. Что такое все Аксаковы, Ю. Самарин и Хомяков, или «знаменитый» Мордвинов против него как *деятеля*, т. е. как *возможного деятеля*, который зарыт был где-то в снегах Вилюйска? Но тут мы должны пенять и на него: каким образом, чувствуя *в груди такой запас энергии*, было, в целях *прорваться к делу*, не расцеловать ручки всем генералам, и, вообще, целовать «кого угодно *в плечико*» — лишь бы дали помощь народу, подпустили к народу, дали бы «департамент». Показав хорошую «треххвостку» его коммунальным и социал-демократическим идеям, благословив *лично* его жить хоть с полсотнею курсисток и даже подавиться самую Цебриковой, — я бы тем не менее как *лицо* и *энергию* поставил его не только во главе министерства, но во главе системы министерств, дав роль Сперанского и «незыблемость»

Аракчеева... Такие *лица* рождаются веками; и бросить его в снег и глушь, в ели и болото... это... это... черт знает что такое. Уже читая его *слог* (я читал о Лессинге, т. е. начало), прямо чувствуешь: никогда не устанет, никогда не утомится, мыслей — чуть-чуть, пожеланий — пук молний. Именно «перуны» в душе. Теперь (переписка с женой и отношения к Добролюбову) все это объяснилось: он был духовный, спиритуалистический «S», ну — а такие орлы крыльев не складывают, а летят и летят, до убоя, до смерти или победы. Не знаю его опытность, да это *и не важно*. В сущности, он был как *государственный деятель* (общественно-государственный) выше и Сперанского, и кого-либо из «екатерининских орлов», и браваурного Пестеля, и нелепого Бакунина, и тщеславного Герцена. Он был действительно *solo*. Нелепое положение полного *практического бессилия* выбросило его в литературу, публицистику, философствующие оттенки, и даже в беллетристику: где не имея никакого *собственно к этому призвания* (тишина, созерцательность), он переломал все стулья, разбил столы, испачкал жилые удобные комнаты, и, вообще, совершил «нигилизм» — и ничего иного совершить не мог... Это — Дизраэли, которого так и не допустили бы пойти дальше «романиста», или Бисмарк, которого за дуэли со студентами обрекли бы на всю жизнь «драться на рапирах» и

«запретили куда-нибудь принимать на службу». Черт знает что: рок, судьба, и не столько *его*, сколько *России*.

Но и *он же*: не сумел «сжать в кулак» своего нигилизма и семинарщины. Для народа. Для бескоровных, безлошадных мужиков.

Поразительно: ведь это — прямой путь до Цусимы. Еще поразительнее, что с выходом его в практику — мы не имели бы и теоретического нигилизма. В одной этой действительно замечательной биографии мы подошли к Древу Жизни: но — взяли да и срубили его. Срубили, «чтобы ободрать на лапти» Обломову...

(За нумизматикой).

* * *

Пешехонка — последняя значущая фигура в с.-д. Однако, значучесть эта заключается единственно в *чистоте* его. Это «рыцарь бедный», о каком говорит Пушкин, когда-то пылкой и потом только длинной борьбы, где были гиганты, между прочим, и по уму: тогда как у П. какой ум? «Столоначальник», а не министр. Конечно, это не отнимает у него всех качеств человека. Замечательно, что раз его увидев (в Калашниковской бирже), неудержимо влечешься к нему, зная, что никакого интересного разговора не

выйдет (к Мякотину, Петрищеву, Короленке — никакого влечения и интереса). В нем доброе — натура, удивительно рожденная. Без мути в себе. На месте Ц... я бы его поставил во главе интендантства... «Пиши, писарь, — тебе не водить полки. Но ты не украдешь и не дашь никому украсть». И ради «службы и должности» смежил бы глаза на всякую его с.-д. «Черт с ней». «Этот хороший министр у меня с дурью». Я бы (испоршив плутов) и всем с.-д. дал «ход», смотря на их «убеждения» как на временное умопомешательство, которое надо перенести, как в семьях переносят «детскую корь». «Черт с ней». Судьба. Карма всероссийской державы. Не знаю, куда бы назначить Мякотина. Начальником всех кузниц в России. Во всяком случае — в конницу. О Петрищеве не имею представления, кроме того, что подзуживает несчастных курсисток к забастовкам, в чем совпадает с Зубатовым. Вероятно, дурачок — из «честных», но ум совершенно незначительный. Замечательно симпатичен, однако, Иванчик-Писарев (видел раз), и при нем какая-то дама, тоже симпатичная, умная и деятельная. Я бы им устроил «черту оседлости», отдав уезд на съедение (!?) или расцвет. Кто знает, если бы «вышло», отчего не воспользоваться. Государство должно быть справедливо и смотреть спокойно во все стороны. Да: забыл Горнфельда. Ему бы я дал

торговать Камышевыми тросточками (он ходит с тросточкой, при галстухе и, кажется, пока без цилиндра). Короленко какой-то угрюмый и, может быть, не умный. Я думаю, несколько сумасшедший. Сумасшедший от странной и запутанной своей биографии, где невозможно было сохранить равновесие души. У него был прекрасный «службист» николаевских времен отец, мать — полька, раздираательные сцены русского угнетения в Ю.-Зап. крае, и последующие встречи с с.-д. Если бы у него отец был дурной — все было бы ясно; но запуталась (честная) «тень отца», и он вышел «Гамлетом» в партии, которая требует действия, единслитности и не допускает *сомнений, особенно в уме*. А у Короленки есть (тайные) сомнения. Я с ним раз и минутно разговаривал в Таврическом дворце. Несмотря на очарование произведениями, *сам* он не произвел хорошего впечатления (уклончив, непрям).

(За нумизматикой).

* * *

Секрет ее страданий в том, что она при изумительном *умственном* блеске — имела, однако, во всем только полу-таланты. Ни — живописица, ни — ученый, ни — певица, хотя *и* певица, *и* живописица, *и* (больше и легче всего)

ученый (годы учения, усвоение лингвистики). И она все меркла, меркла *неудержимо*...

(За нумизматикой; о Баширцевой).

* * *

Удивительно противна мне моя фамилия. Всегда с таким чужим чувством подписываю «В. Розанов» под статьями. Хоть бы «Руднев», «Бугаев», что-нибудь. Или обыкновенное русское «Иванов». Иду раз по улице. Поднял голову и прочитал:

«Немецкая булочная Розанова».

Ну, так и есть: все булочники «Розановы», и, следовательно, все Розановы — булочники. Что таким дуракам (с такой глупой фамилией) и делать. Хуже моей фамилии только «Каблуков»: это уже совсем позорно. Или «Стечкин»⁴ (критик «Русск. Вести.», подписывавшийся «Стародумов»): это уж совсем срам. Но вообще ужасно неприятно носить самому себе неприятную фамилию. Я думаю, «Брюсов» постоянно радуется своей фамилии. Поэтому

СОЧИНЕНИЯ В. РОЗАНОВА

меня не манят. Даже смешно.

СТИХОТВОРЕНИЯ В. РОЗАНОВА

совершенно нельзя вообразить. Кто же будет «читать» такие стихи?

— Ты что делаешь, Розанов?

— Я пишу стихи.

— Дурак. Ты бы лучше пек булки.

Совершенно естественно.

Такая неестественно отвратительная фамилия дана мне в дополнение к мизерабельному виду. Сколько я гимназистом простаивал (когда ученики разойдутся из гимназии) перед большим зеркалом в коридоре, — и «сколько тайных слез украдкой» пролил. Лицо красное. Кожа какая-то неприятная, лоснящаяся (не сухая). Волосы прямо огненного цвета (у гимназиста) и торчат кверху, но не благородным «ежом» (мужской характер), а какой-то поднимающейся волной, совсем нелепо, и как я не видал ни у кого. Помадил я их, и все — не лежат. Потом домой приду, и опять зеркало (маленькое, ручное): «Ну кто такого противного полюбит». Просто ужас брал: но меня *замечательно любили товарищи*, и я всегда был «коноводом» (против начальства, учителей, особенно против директора). В зеркало, ища красоты лица до «выпученных глаз», я, естественно, не видел у себя «взгляда», «улыбки», вообще, *жизни лица* и думаю, что вот эта сторона у меня — жила, и пробуждала то, что меня все-таки замечательно и многие любили (как и я всегда, безусловно, ответно любил).

Но в душе я думал:

— Нет, это *кончено*. Женщина меня *никогда не полюбит, никакая*. Что же остается? *Уходиться в себя, жить с собою, для себя* (не эгоистически, а духовно), *для будущего*. Конечно, побочным образом и как «пустяки», внешняя непривлекательность была причиной самоуглубления.

Теперь же это мне даже нравится, и что «Розанов» так отвратительно; к дополнению: я с детства любил худую, заношенную, проношенную одежду. «Новенькая» меня всегда жала, теснила, даже невыносима была. И, словом, как о вине:

Чем старше, тем
лучше

— так точно я думал о сапогах, шапках и о том, что «вместо сюртука». И теперь стало все это нравиться:

— Да просто я не имею формы (*causa formalis* Аристотеля). Какой-то «комочек» или «мочалка». Но это оттого, что я весь — дух, и весь — субъект: субъективное действительно развито во мне бесконечно, как я не знаю ни у кого, не предполагал ни у кого. «И отлично»... Я «наименее рожденный человек», как бы «еще лежу (комком) в утробе

матери» (ее бесконечно люблю, т. е. покойную мамашу) и «слушаю райские напевы» (вечно как бы слышу музыку, — моя особенность). И «отлично! совсем отлично!» На кой черт мне «интересная физиономия» или еще «новое платье», когда я *сам* (в себе, «комке») бесконечно интересен, а по душе — бесконечно стар, опытен, точно мне 1000 лет, и вместе — юн, как совершенный ребенок... Хорошо! Совсем хорошо...

(За нумизматикой).

* * *

Голубая любовь

...И всякий раз, как я подходил к этому высокому каменному дому, поднимаясь на пригорок, я слышал музыку. Гораздо позднее узнал я, что это «гаммы». Они мне казались волшебными. Медленно, задумчиво я шел до страшно парадного-парадного подъезда, огромной прихожей-сеней, и, сняв гимназическое пальто, всегда проходил к товарищу.

Товарищ не знал, что я был влюблен в его сестру. Видел я ее раз — за чаем, и раз — в подъезде в Дворянское собрание (симфонический концерт). За чаем она говорила с матерью по-французски, я сильно краснел и шушукался с товарищем.

Потом уже чай высылали нам в его комнату. Но из-за стены, не глухой, изредка я слышал ее серебристый голос, — о чае или о чем-то...

А в подъезде было так: я не попал на концерт или вообще что-то вышли... Все равно. Я стоял около подъезда, к которому все подъезжали и подъезжали, непрерывно много. И вот из одних санок выходит она с матерью — неприятной, важной старухой.

Кроме бледного худенького лица, необыкновенно изящной фигуры, чудного очертания ушей, прямого небольшого носика, такого деликатного, мое сердце «взяло» еще то, что она всегда имела голову несколько опущенную — что вместе с фигурой груди и спины образовывало какую-то чарующую для меня линию. «Газель, пьющая воду»... Кажется, главное очарование заключалось в движениях, каких-то волшебнo-легких... И еще самое главное, окончательное — в душе.

Да, хотя: какое же я о ней имел понятие?

Но я представлял эту душу — и все движения ее подтверждали мою мысль — гордою. Не надменно: но она так была погружена в свою внутреннюю прелесть, что не замечала людей... Она только проходила мимо людей, вещей, брала из них нужное, но не имела с ними другой связи. Оставаясь одна, она садилась за музыку, должно

быть... Я знал, что она брала уроки математики у местного учителя гимназии, — высшей математики, так как она уже окончила свой институт. «Есть же такие счастливицы» (учитель).

Однажды мой товарищ в чем-то проворовался; кажется подделал баллы в аттестате: и, нелепо — наивно передавая мне, упомянул:

Сестра сказала маме: «Я все отношу это к тому, что Володя дружен с этим Розановым... Это товарищество на него дурно влияет. Володя не всегда был таким...»

Володя был глупенький, хорошенький мальчик — какой-то «безответственный». Я писал за него сочинения в классе, и затем мы «болтали»... Но «дурного влияния» я на него не оказывал, потому что по его детству, наивности и чепухе на него нельзя было оказать никакого «влияния».

Я выслушал молча...

Но как мне хотелось тогда умереть.

Дай не «тогда» только: мне все казалось — вообще, всегда, — что меня «раздавили на улице лошади». И вот она проезжает мимо. Остановили лошадей. И, увидев, что это «я», она проговорила матери:

Бедный мальчик... Может быть, он не был такой дурной, как казался. Верно, ему было *больно*. Все-таки его *жаль*.

В террор можно и влюбиться и возненавидеть до глубины души, — и притом с оттенком «на неделе семь пятниц», без всякой неискренности. Есть вещи, в себе диалектические, высвечивающие (*сами*) и одним светом и другим, кажущиеся с одной стороны — так, а с другой — иначе. Мы, люди, страшно несчастны в своих суждениях перед этими диалектическими вещами, ибо страшно бессильны. «Бог взял концы вещей и связал в узел, — неразвязываемый». Распугать невозможно, а разрубить — все умрет. И приходится говорить — «синее, белое, красное». Ибо всё — *есть*. Никто не осудит «письма Морозова из Шлиссельбурга» (в «Вестн. Евр.»), но его «Гроза в буре» нелепа и *претенциозна*. Хороша Геся Гельфман, — но кровавая Фрумкина мне органически противна, как и тыкающий себя от *злости* вилкой Бердягин. Всё это — чахоточные, с чахоткой в нервах Ипполиты (из «Идиота» Дост.). Нет гармонии души, нет величия. Нет «благообразия», скажу термином старца из «Подростка», нет «наряда» (одежды праздничной), скажу словами С.М. Соловьева, историка.

Как ни страшно сказать, вся наша «великолепная» литература в сущности ужасно недостаточна и не глубока. Она великолепно «изображает»; но то, что она изображает, — отнюдь не великолепно, и едва стоит этого мастерского чекана.

XVIII век — это все «помощь правительству»: сатиры, оды, — всё; Фонвизин, Кантемир, Сумароков, Ломоносов, — всё и *все*.

XIX век в золотой фазе отразил помещичий быт.

Татьяны милое
семейство,
Татьяны милый
идеал.

Да, хорошо... Но что же, однако, *тут универсального?*

Почему это *нужно* римлянину, немцу, англичанину? В сущности, никому, кроме *самых русских*, не интересно.

Что же потом и особенно теперь? Все эти трепетания Белинского и Герцена? Огарев и прочие? Бакунин? Глеб Успенский и мы? Михайловский? Исключая Толстого (который в *этом пункте исключения* велик), все это есть производное от студенческой «курилки» (комната,

где накурено) и от тощей кровати проститутки. Все какой-то анекдот, приключение, бывающее и случающееся, — черт знает, почему и для чего. Рассуждения девицы и студента о Боге и социальной революции — *суть* и *душа* всего; все эти «социал-девицы» — милы, привлекательны, поэтичны; но «почему сие *важно*»? *И Важного никак* отсюда ничего не выходит. «Нравы Растеряевой улицы» (Гл. Успенского, впрочем, не читал, знаю лишь заглавие) никому решительно не нужны, кроме попивающих чаек читателей Гл. Успенского и полицейского пристава, который за этими «нравами» следит «недреманным оком». Что такое студент и проститутка, рассуждающие о Боге? Предмет вздоха ректора, что студент не занимается и — усмешки хозяйки «дома», что девица не «работает». Все это просто не нужно и не интересно, иначе как в качестве иногда действительно прелестного сюжета для рассказа. *Мастерство* рассказа есть и *остается*, «*есть литература*». Да, но — как *чтение*. Недоумение Щедрина, что «читатель только почитывает» литературу, которую писатель «пописывает», — вовсе неосновательно *в отношении именно русской литературы*, с которой что же и делать, как ее не «почитывать», ибо она, *в сущности, единственно для этого* и «пишется»...

В сущности, все — «сладкие вымыслы»:

Не для бедствий нам
существенных
Даны вымыслы
чудесные...

как сказал красиво Карамзин. И все наши «реалисты», и Михайловский, суть мечтатели *для бумаги*, — в лучшем случае *полной чести* («честный писатель»).

Лет шесть назад «друг» мне передал, вернувшись из церкви «Всех скорбящих» (на Шпалерной): — «Пришла женщина, не старая и не молодая. Худо одета. Держит за руки шесть человек детей, все маленькие. Горячо молилась и все плакала. Наверное, не потеряла мужа, — не те слезы, не тот тон. Наверно, муж или пьет, или потерял место. Такой скорби, такой молитвы я никогда не видывала».

Вот это в Гл. Успенского никак не «влезет», ибо у Гл. Успенского «совсем не тот тон».

Вообще *семья, жизнь, не социал-женихи*, а вот социал-трудовики — никак не вошли в русскую литературу. На самом деле *труда* -то она и не описывает, а только «молодых людей», рассуждающих «о труде». Именно — женихи и студенты; но ведь *работают-то* в действительности — не они, а — *отцы*. Но те все

— «презираемые», «отсталые»; и для студентов они то же, что куропатки для охотника.

Здесь великое исключение представляет собою Толстой, который отнесся с *уважением к семье, к трудящемуся человеку, к отцам...* Это — *впервые и единственно в русской литературе, без подражаний и продолжений.* От этого он не кончил и «Декабристов», собственно по великой *пустоте сюжета.* Все декабристы суть те же «социал-женихи», предшественники проститутки и студента, рассуждающих о небе и земле. Хоть и с аксельбантами и графы. Это *не трудовая Русь* и Толстой бросил сюжет. Тут его серьезное и благородное. То, что он не кончил «Декабристов» — столь же существенно и благородно, так же оригинально и величественно, как и то, что он *изваял и кончил* «Войну и мир» и «Каренину».

Конечно, не Пестель-Чацкий, а Кутузов-Фамусов держит на плечах своих Россию, «какая она ни есть». Пестель решительно ничего не держит на плечах, кроме эполет и самолюбия. Я понимаю, что Фамусов немногого стоит, как и Кутузов — не золотой кумир. Но ведь и русская *история вообще* еще почти не начиналась. Жили «день за днем — сутки прочь»...

* * *

Ну, — вот ты всех пересудил... Но *сам* кого лучше?

— Никого. Но я же и говорю, что нам плакать не об *обстоятельствах* своей жизни, а о *себе*.

Совсем другая тема, другое направление, другая литература.

(*За нумизматикой*).

* * *

В России вся собственность выросла из «выпросил», или «подарил», или кого-нибудь «обобрал». *Труда собственности* очень мало. И от этого она не крепка и не уважается.

(*Луга-Петербург, вагон*).

* * *

Вечно мечтает, и всегда одна мысль: — как бы уклониться от работы.

(*Русские*).

* * *

Литература вся празднословие... Почти вся...

Исключений убийственно мало.

* * *

И я вошел в этот проклятый инородческий дом, о котором сам же, при первом визите, подумал: «Никогда не встречал такого: *тут можно только повеситься*». Так мы спотыкаемся не о скалы, а об самый простой, гладкий, износившийся сам в себе, булыжник.

(Н. М. М.).

* * *

Цинизм от *страдания*?.. Думали ли вы когда-нибудь об этом?

(1911 г.).

* * *

Хотел ли бы я посмертной славы (которую чувствую, что заслужил)?

В душе моей много лет стоит какая-то непрерывная боль, которая заглушает желание славы. Которая (если душа бессмертна) — я чувствую — *усилилась бы, если бы была слава*.

Поэтому я ее не хочу.

Мне хотелось бы, чтобы меня некоторые

помнили, но *отнюдь не хвалили*; и только при условии, чтобы помнили *вместе с моими близкими*.

Без памяти о них, о их *доброте*, о *чести* — я не хочу, чтобы и *меня помнили*.

Откуда такое чувство? От *чувства вины*; и еще от глубокого чистосердечного сознания, что я не был хороший человек. Бог дал мне таланты, но это — другое. Более страшный вопрос: был ли я *хороший человек* — и решается в отрицательную сторону.

(Луга-Петербург, вагон).

* * *

Два ангела сидят у меня на плечах: ангел смеха и ангел слез. И их вечное пререкание — моя жизнь.

(На Троицком мосту).

* * *

И вот разворачиваешь эту простыню... Редактор и ртом и всячески нахватал известий... из Абиссинии, Испании, черт знает, откуда еще. Как не лопнет. И куда ему?

— Это я для вашего удовольствия (читателю).

— Спасибо. Своя душа дороже.

(За нумизматикой).

* * *

Говорят, этот господин, прочитавший столько публичных лекций о народном просвещении, разгромивший школу, в которой сам учился, *не узнавал* своего сына — «Это чей мальчик?» — И когда ему говорили, что это его сын, он патетически кидался обнимать его, но затем через две минуты опять забывал.

«Никак не мог вспомнить»...

Или:

«Что делать, не могу удержать в памяти, кто ты?»

(За нумизматикой).

* * *

«Бранделяс» (на процессе Бутурлина) — это хорошо. Главное, какой звук... есть что-то такое в звуке. Мне более и более кажется, что все литераторы суть «Бранделясы». В звуке этом то хорошо, что он ничего собою не выражает, ничего собою не обозначает. И вот по этому качеству он особенно и приложим к литераторам.

«После эпохи Меролинггов настала эпоха Бранделясов», — скажет будущий Иловайский. Я

думаю, это будет хорошо.

(За нумизматикой).

* * *

Литература как орел взлетела в небеса. И падает мертвая. Теперь-то уже совершенно ясно, что она не есть «взыскуемый невидимый град».

(На обороте транспаранта).

* * *

«Час от часу не легче»... Ревекка NN, ставшая бывать теперь у нас в доме, вечер на 3-й, когда я с нею начал говорить о *подробностях* (мне неизвестных или неясных) миквы, сперва отвечала мне, а потом — с наступившим молчанием — заметила:

— Это *название* я произношу *впервые вслух*.

— Миквы?

Она сконфузилась:

— Это же *неприличное слово*, и в еврейском обществе недопустимо вслух сказать его.

Я взволновался:

— Но ведь миква же — *святая?*..

— Да, она *святая*... Так нам внушали... Но ее *имя* — *неприлично*, и *вслух* или *при других* никогда *не произносится*...

Но ведь это же «открытие Пифагоровой теоремы»: значит, у евреев есть *самое это понятие*, что «неприличное» и «святое» может *совмещаться! совпадать!! быть одним!!!*

Ничего подобного, конечно, нет и невозможно у христиан. И отсюда необозримое историческое последствие:

1) у христиан все «неприличное» — и по мере того как «неприличие» *увеличивается*- уходит в «грех», в «дурное», в «скверну», «гадкое»: так что уже *само собою* и без комментариев, указаний и доказательств, *без теории*, сфера половой жизни и половых органов, — этот отдел мировой застенчивости, мировой скрываемости, — *пала в преисподнюю* «исчадия сатанизма», «дьявольщины», в основе же — «ужасной, невыносимой мерзости», «мировой вони».

2) у евреев мысль *приучена* к тому, что «неприличное» (для речи, глаза и мысли) вовсе не оценивает внутренних качеств вещи, ничего не говорит о содержании ее; так как есть одно, вечно «под руками», всем известное, ритуальное, еженедельное, что, будучи «верхом неприличия» в названии, никогда *вслух не произносятся*, — в то же время «свято».

Это не объясняется, это не указывается; это просто *есть*, и об этом все *знают*.

Через это евреям *ничего еще не сказано*, но

дана нить, держась за которую и идя по которой всякий сам может прийти к мысли, заключению, тождеству, что «вот это» (органы и функции), хотя их никому не показывают и вслух произнести их имя — неприличие: тем не менее они — святы.

Отсюда уже прямой вывод о «тайном святом», что есть в мире; «о святом, что *надо скрывать*» и «чего никогда *не надо называть*»; о мистериях, *mysterium*. Понятно происхождение самого имени, и выясняется самое «тело» мистерии. Ведь наши все «тайнства» суть открытые, совершаемые при дневном свете, при народе: и явно, что *древние «тайнства»*, которые хотели иногда связывать с нашими — хотели этого богословы (один труд, о *mysteria arcana*⁴, помнится г. Сильченкова, в «Вере и Разуме»), — на самом деле ничего общего с ними, кроме *имени* и *псевдо-* имени, не имеют.

Продолжаю обдумывать о микве, в этом сочетании покрасневшей и насупившейся барышни (очень развитая московская курсистка, лет 26) — с признанием: «У нас же никогда этого названия *вслух не произносят...*; название это считается *неприличным* ; но, *называемая неприличным* именем, *вещь* самая — *святая*»...

⁴ Тайная мистерия (*лат*).

Нужно знать «оттенки» миквы:

Она не глубока, аршина 11/2- Глубже — «трефа», «не годится». Почему? что такое? «Не годится» для чего-то тайного, что тут происходит, но о чем не произнесено и не написано нигде ни слова. Только раввины посмотрели, измерили; и если не глубже 11/2 аршина — сказали: «кошер», «хорошо». Почему? — *народу не объяснено.*

За погружением уже наблюдают синагогальные члены, у женщин — старухи: и кричат тем, которые погружаются впервые, что они должны погрузиться так, чтобы *на поверхности воды не было видно кончиков волос.* При 11/2 аршинной глубине явно нужно для этого очень глубоко присесть, до труда, до напряжения присесть: и все «послушно выполняют дело», не понимая для чего. Но раввины говорят «кошер»! Низко присела — «кошер», не низко — «трефа». Для этого — не глубже 11/2 аршина.

Вода не приносится снаружи, *не наливается в бассейн,* а выступает из почвы, есть *почвенная вода.* Но почвенная вода — это *вода колодца.* Таким образом, «спуститься в микву» всегда значит «спуститься на дно колодца», естественно по очень длинной и узенькой лестнице, «вплотную» только для двух-трех, не более, рядом. Ступени, как я наблюдал во Фридберге, «циклопические», в 3/4

аршина, и при спуске приходилось «разевать широко ноги»... Не шли, а «шагали», «лезли», тоже усиливаясь, напрягаясь... Самый спуск очень длинен, глубоок, и подниматься нужно минут десять. Причем освеженная и радостная (всегдашнее чувство после погружения), — естественно, поднимаясь чуть-чуть, закидывала голову кверху: и перед глазами ее в течение десяти минут было зрелище «широко разеваемых» ног, закругленных животов и гладко выстриженных (ритуал) — до голизны — стыдливых частей. «Всё в человеке — подобие и образ Божий», мелькало у поднимающихся в эту экстатическую религиозную минуту. — «Кошер! кошер!» — произносили раввины.

И чтобы все это было медленно, *долго*, — по закону «не могут в микву *одновременно погрузиться двое*».

Так, задыхаясь и счастливые, *они* сходили и восходили, *они* восходили и нисходили.

Но вот все ушли. Пустая вода, бассейн. Старик еврей, как Моисей, как Авраам, подходит последний к неглубокому ящику с водою; и вдруг, прилепив к краям ящика восковые свечи, — зажигает их все!! Это «скупой рыцарь» юдаизма перед своими «богатствами»... Да, для всех это

гадко, стыдно, «нельзя этого произнести вслух»: но ведь «я строил микву и знаю, что и зачем; этим будет жить весь израиль, и вечно, *если этого не оставит*, и я зажигаю священный огонь здесь, потому что нигде как здесь не напоен воздух так телами израиля, и все они (онѣ) вдохнули этого воздуха, вдохнули и проглотили его, и теперь он ароматическою и зрительною струею бежит в жилах каждого (-ой) и рождает образы и желанья, которыми, *едиными и объединяющими*, волнуется весь израиль».

«Зажженные восковые свечи» — это перевод *на наш язык, на наш обряд того*, что закон и вера говорят израилю: «миква *свята*». В Талмуде есть изречение: «Бог есть миква, ибо Он *очищает* (не помню, сказано ли «души») израиля».

Но оставим старика и перекинемся к нам, в нашу обстановку, в наш быт, — чтобы объяснить это древнее установление евреев и дать почувствовать его душу. Представим себе наш бал. Движение, разговоры, «новости» и «политика». Роскошь всего и туалеты дам... Амфилада зал, с белыми колоннами и стенами. И вот кто-нибудь из гостей, из танцовавших кавалеров, — утомленный танцами, отходит совсем в боковую комнату: и, увидя на столе миску с прохладною водою, кем-то

забытую и ненужную, осторожно оглядывается кругом, притворяет дверь, и, вынув несколько возбужденную и волнующуюся часть — погрузил в холодную чистую воду... «пока — остынет».

Он делает то, что иудеи в микве и мусульмане в омовениях («намаз»).

И ушел. Вся разгоревшаяся впорхнула сюда же женщина... Она разгорелась, потому что ей жали руку, потому что она назначила свидание, — и назначила сейчас после бала, в эту же ночь. Увидев ту же миску, она берет ее, ставит на пол, — и, также осторожно оглянувшись кругом и положив крючок на дверь, повторяет то, что ранее сделал мужчина.

Это — то, что делают иудейки в микве.

И многие, и, наконец, — все это сделали, уверенные, что ни один глаз их не видел.

Если бы кто-нибудь увидел, они все умерли бы от стыда. Вот восклицание Ревекки NN: — «имя это — *неприлично*».

Доселе — мы и наше, прохлада и чистота. Все — рационально.

Пойдем же обратно опять назад, — в иудейство:

Представим, что через слуховое окно чердака, из темного места, видел всё здесь происшедшее —

еврей. Мы бы отвернулись или не обратили внимания. Но не к тому призвало его «обрезание», которое он несет на себе; и не так, а совсем иначе, оно его поставило. В противоположность нашему отвращению, у него разгорелись глаза. Он вылез. Бала ему не нужно, и на бал он не пойдет. Его место — здесь. Он уносит к себе миску, остерегаясь расплескать из нее воду. И, тоже запершись, чтобы никто его не увидел, — поставил ее на стол и вдруг зажег множество лампад (*начало лампад — в Египте*) вокруг и, закрыв голову покрывалом, как бы перед глазами его находится что-то, на что он не смеет смотреть, стал бормотать слова на непонятном языке.

Он творил молитвы и заклинания.

Это — юдаизм.

И молитвы эти — хорошие. Еврей молился: — «Пусть они танцуют. Эти глупости пройдут. Я молюсь о том, что им нужно будет в старости, — о *здоровье, о продлении их жизни*; о том, чтобы самая жизнь была *свежа, крепка*; вот чтобы *не болело у них, и никогда не болело то*, что они сюда погрузили и здесь омыли. Ах, они теперь не знают, потому что влюблены, — и говорят о службе и чинах. Я прошел все чины, и мне ничего не нужно: я знаю, как *жизнерадостность зависит от того*, чтобы в этом месте ничего не засорялось у

человека, не помутнялось и не слабело, а все было ясно и честно, как хороший счет, и обещающе, как новорожденный младенец. И я им всем чужой: но молюсь моему Тайному Богу, чтобы у всего *Мира*, у всех *их*, Он сохранил и благословил эти части, на вечное плодородие мира и на расцвет всей земли, которую Он, Благий, *сотворил*».

Амен.

* * *

...и бегут, бегут все... чудовищной толпой.
Куда? Зачем?

— Ты спрашиваешь, зачем мировое volo?

— Да тут не volo, а скорее ноги скользят, животы трясутся. И никто ни к чему не привязан. Это — скетинг-ринг, а не жизнь...

(*В постели ночью*).

* * *

Смех не может ничего убить. Смех может только *придавить*.

И терпение одолеет всякий смех.

(*О нигилизме*).

* * *

Техника, присоединившись к душе, дала ей всемогущество. Но она же ее и раздавила. Появилась «техническая душа» — *contradictio in adjecto*⁵.

И вдохновение умерло.

(Печать и вообще «все новое»),

* * *

В мое время, при моей жизни создались некоторые новые слова: в 1880 году я сам себя называл «психопатом», смеясь и веселясь новому удачному слову. До себя я ни от кого (кажется) его не слышал. Потом (время Шопенгауэра) многие так стали называть себя или других; потом появилось это в журналах. Теперь это бранная кличка, но первоначально это обозначало «болезнь духа», вроде Байрона, — обозначало поэтов и философов. Вертер был «психопат». — Потом, позднее, возникло слово «декадент», и так же я был из первых. Шперк с гордостью говорил о себе: «Я, батенька, декадент». Это было раньше, чем мы оба услышали о Брюсове; А. Белый — не рождался. — Теперь распространилось слово «чуткий»: нужно

⁵ Противоречие в определении (*лат.*).

бы посмотреть книгу «О понимании»; но в идеях «чуткости» и «настроения», с ярким *сознанием их.*, с признанием их *важности*, я писал эту книгу.

Все эти слова, новые в обществе и в литературе, выражали — ступенями — огромное *углубление* человека. Все стали немножко «метерлинками», и в этом — *суть*. Но стали «метерлинками» раньше, чем слышали о Метерлинке.

* * *

Поразительно, что к гробу Толстого сбежались все Добчинские со всей России, и, кроме Добчинских, никого там и не было, они теснотой толпы никого еще туда и не пропустили. Так что «похороны Толстого» в то же время вышли «выставкою Добчинских»...

Суть Добчинского — «чтобы обо мне узнали в Петербурге». Именно одно это желание и подхлестнуло всех побежать. Объявился какой-то «Союз союзов» и «Центральный комитет 20-ти литературных обществ»... О Толстом никто не помнил: каждый сюда бежал, чтобы вскочить на кафедру и, что-то проболтав, — все равно что, — ткнуть перстом в грудь и сказать: «Вот я, Добчинский, живу; современник вам и Толстому.

Разделяю его мысли, восхищаюсь его гением; но вы запомните, что я именно — *Добчинский*, и не смешайте мою фамилию с чьей-нибудь другой».

Никогда не было такого позора, никогда литература не была так жалка. Никогда она не являла такой *безжалостности*: ибо Т-го можно было и пожалеть (последняя драма), можно было о нем и *подумать*. Но ничего, ровно ничего такого не было. В воздухе вдруг пронеслось ликование: «И я взойду на *эстраду*». Шум поднялся на улице. Едут, спешат: — «Вы будете говорить?» — «И я буду говорить». — «Мы все теперь будем говорить»... «И уж в другое время, может, нас и не послушали бы, а теперь непременно выслушают, и запомнят, что вот бородка клинышком, лицо белобрысое, и задумчивые голубые глаза»... «Я, *Добчинский*: и зовут меня *Семеном Петровичем*».

Это продолжалось, должно быть, недели две. И в эти две недели вихря никто не почувствовал позора. Слова «довольно» и «тише» раздались не ранее, как недели две спустя после смерти. «Тут-то я блесну умом»... И коллективно все блеснуло *пошлостью*, да такой, какой от Фонвизина не случалось.

Нужно ли говорить, что все «говорившие» не имели ни моты роднящего, родного с Толстым. Были ему совершенно чужды, даже враждебны; и

в отношении *их самих* Толстой был совершенно чужой, и даже был им всем *враг*.

Всю жизнь он полагал именно на *борьбу с такими*, на *просвещение таких*, на то, чтобы *разбудить таких, воскресить*, преобразить...

И вдруг такое: *finis coronal opus!*^б

Ужасно.

(*За нумизматикой*).

* * *

Добчинского, если б он жил в более «граждански-развитую эпоху», — и представить нельзя иначе, как журналистом, или, еще правильнее — стоящим во главе «литературно-политического» журнала; а *Ноздрев* писал бы у него передовицы... Это — в тихое время; в бурное — *Добчинский* бегал бы с прокламациями, а *Ноздрев* был бы «за Родичева». И, кто знает, вдвоем не совершили ли бы они переворота. «Не боги горшки обжигают»...

(*За нумизматикой*).

^б Конец венчает дело (*лат.*).

* * *

Сатана соблазнил папу властью; а литературу он же соблазнил славою...

Но уже Герострат указал самый верный путь к «сохранению имени в потомстве»... И литература, которая только и живет тревогою о «сохранении имени в потомстве» (Добчинский) — естественно, уже к нашим дням, т. е. «пока еще цветочки», — пронизалась вся Геростратами.

Ни для кого так не легко сжечь Рим, как для Добчинского. Катилина задумается. Манилов — пожалеет; Собакевич — не поворотится; но Добчинский поспешит со всех ног: «Боже! Да ведь Рим только и ждал *меня*, а я именно и родился, чтобы *сжечь Рим*: смотри, публика, и запоминай *мое имя*».

Сущность литературы... самая ее душа... «душенька».

(За нумизматикой).

* * *

Читал о страдальческой, ужасной жизни Гл. Успенского («Русск. Мысль» 1911 г., лето): его душил какой-то долг в 1700 руб.; потом «процентщица бегала за мной по пятам, не давая покою ни в Москве, ни в Петербурге».

Он был друг Некрасова и Михайловского. Они явно не только уважали, но и любили его (Михайловский в письме ко мне).

Но тогда почему же не *помогли ему*? Что это за мрачная тайна? Тоже как и у почти миллионера Герцена в отношении Белинского. Я не защитник буржуа, и ни до них, ни до судьбы их мне дела нет, но и простая пропись, и простой здравый смысл кричат: «Отчего же это фабриканты *должны уступить рабочим машины и корпуса фабрик*, — когда решительно ничего *не уступили*: Герцен — Белинскому; Михайловский и Некрасов — Глебу Успенскому».

Это какой-то «страшный суд» всех пролетарских доктрин и всей пролетарской идеологии.

* * *

А голодные так голодны, и все-таки революция права. Но она права не идеологически, а как *натиск*, как *воля*, как *отчаяние*. Я не *святой* и, может быть, хуже тебя: но я волк, голодный и ловкий, да и голод дал мне храбрость; а ты тысячу лет — вол, и если когда-то имел рога и копыта, чтобы убить меня, то теперь — стар, расслаблен, и вот я *съем тебя*.

Революция и «старый строй» — это просто «дряхласть» и «еще крепкие силы». Но это — не идея, *ни в каком случае — не идея!*

Все соц. — демократ, теории сводятся к тезису: «Хочется мне кушать». Что же: тезис-то ведь прав. Против него «сам Господь Бог ничего не скажет». «Кто дал мне желудок — обязан дать и пищу». Космология.

Да. Но мечтатель отходит в сторону потому что даже больше, чем пищу, — он любит мечту свою. А в революции — ничего для мечты.

И вот, может лишь оттого, что в ней — ничего для мечты, она не удастся. «Битой посуды будет много», но «нового здания не выстроится». Ибо строит тот один, кто способен к изнуряющей мечте; строил Микель-Анджело, Леонардо да-Винчи: но революция всем им «покажет прозаический кукиш» и задушит еще в младенчестве, лет 11–13, когда у них вдруг окажется «свое на душе» — «А, вы — гордецы: не хотите с нами смешиваться, *делиться, откровенничать...* Имеете какую-то *свою душу*, не общую душу... Коллектив, давший жизнь родителям вашим и вам, — ибо без коллектива они и вы подошли бы с голоду — теперь берет свое назад. Умрите».

И «новое здание», с чертами ослиного в себе,

повалится в третьем-четвертом поколении.

* * *

Всякое движение души у меня сопровождается *выговариванием*. И всякое выговаривание я хочу непременно *записать*. Это — инстинкт. Не из такого ли инстинкта родилась литература (письменная)? Потому что о печати не приходит мысль: и, следовательно, Гутенберг пришел «потом».

У нас литература так слилась с *печатью*, что мы совсем забываем, что она была *до* печати и, в сущности, вовсе *не для* опубликования. Литература родилась «про себя» (молча) и для себя; и уже потом стала печататься. Но это — одна *техника*.

* * *

Выньте, так сказать, *из самого существа* мира молитву, — сделайте, чтобы язык мой, ум мой разучился словам ее, самому делу ее, существу ее; — чтобы я этого *не мог*, люди этого *не могли*: и я с выпученными глазами и ужасным воем выбежал бы из дому, и бежал, бежал, пока не упал. Без молитвы совершенно нельзя жить... Без молитвы

— безумие и ужас.

Но это все понимается, когда плачется... А кто не плачет, не плакал, — как ему это объяснить? Он никогда не поймет. А ведь много людей, которые никогда не плачут.

Как муж — он не любил жену, как отец — не заботился о детях; жена изменила — он «махнул рукой»; выгнали из школы сына — он обругал школу и отдал в другую. Скажите, что такому «позитивисту» скажет религия? Он пожмет плечами и улыбнется.

Да: но он — не *все*.

Позитивизм истинен, нужен и даже вечен; но для определенной *частицы* людей. Позитивизм нужен для «позитивистов»; суть не в «позитивизме», а в «позитивисте»; человек и здесь, как везде, — раньше теории.

Да...

Религиозный человек предшествует всякой религии, и «позитивный человек» родился гораздо раньше Огюста Конта.

(*За нумизматикой*).

* * *

В «друге» дана мне была путеводная звезда...

И я 20 лет (с 1889 г.) шел за нею: и все, что хорошего я сделал или было во мне хорошего за это время, — от нее; а что дурного во мне — это от меня самого. Но я был упрям. Только сердце мое всегда плакало, когда я уклонялся от нее...

(За нумизматикой).

* * *

И только одно хвастовство, и только один у каждого вопрос: «Какую роль *при этом* я буду играть?» Если «при этом» он не будет играть роли, — «к чёрту».

(За нумизматикой; о политике и печати).

* * *

Да, всё так, — и просвещение, и связь с идеями времени. Но она готовит хорошее наследство внукам, прочное и основательное, и это и дочь, и зять твердо знают. Так о *главном мотиве* жизни мы все молчим и делаем ссылки на то, что, в сущности, тоже есть мотив, и хороший, и горячий даже: но — *не самый горячий*.

(Одна из лучших репутаций в России).

* * *

Сколько прекрасного встретишь в человеке, где и не ожидаешь...

И сколько порочного, — и тоже где не ожидаешь.

(На улице).

* * *

Созидайте дух, созидайте дух, созидайте дух!
Смотрите, он весь рассыпался...

(На Загородном пр., веч.; кругом проститутки).

* * *

Дело в том, что таланты наши как-то связаны с пороками, а добродетели — с бесцветностью. Вот из этой «закавыки» и вытаскивайся.

В 99 из 100 случаев «добродетель» есть просто: «Я не хочу», «Мне не хочется», «Мне *мало хочется*»... «Добродетельная биография» или «эпоха добрых нравов» (в истории) есть просто личность добровольно «безличная» и время довольно «безвременное». Всем «очень мало хотелось». Merсі.

(Въехав на Зеленину).

Мне и одному хорошо, и со всеми. Я и не одиночка и не общественник. Но когда я один — я полный, а когда со всеми — не полный. Одному мне все-таки лучше.

Одному лучше — потому, что, когда один, — я с Богом.

Я мог бы отказаться от даров, от литературы, от будущности своего я, от славы или известности — слишком мог бы, от счастья, от благополучия... не знаю. Но от Бога я никогда не мог бы отказаться. Бог есть самое «теплое» для меня. С Богом мне «всего теплее». С Богом никогда не скучно и не холодно.

В конце концов, Бог — моя жизнь.

Я только живу для Него, через Него. Вне Бога — меня нет.

Что такое Бог для меня?.. Боюсь ли я Его? Нисколько. Что Он накажет? Нет. Что Он даст будущую жизнь? Нет. Что Он меня питает? Нет. Что через Него существую, создан? Нет.

Так что же Он такое для меня?

Моя вечная грусть и радость. Особенная, ни к чему не относящаяся.

Так не есть ли Бог «мое настроение»?

Я люблю того, кто заставляет меня грустить и радоваться, кто со мной говорит, меня упрекает, меня утешает.

Это Кто-то. Это — Лицо. Бог для меня всегда «он». Или «ты»; — всегда близок.

Мой Бог — особенный. Это только *мой* Бог; и еще ничей. Если еще «чей-нибудь» — то этого я не знаю и не интересуюсь.

«Мой Бог» — бесконечная моя интимность, бесконечная моя индивидуальность. Интимность похожа на воронку, или даже две воронки. От моего «общественного я» идет воронка, суживающаяся до точки. Через эту точку-просвет идет только один луч: от Бога. За этой точкой — другая воронка, уже не суживающаяся, а расширяющаяся в бесконечность, это Бог. «Там — Бог». Так что Бог

1) и моя интимность

2) и бесконечность, в коей самый мир — часть.

* * *

Сам я постоянно ругаю русских. Даже почти только и делаю, что ругаю их. «Пренесносный Щедрин». Но почему я ненавижу всякого, кто тоже их ругает? И даже почти только и ненавижу тех, кто

русских ненавидит и особенно презирает.

Между тем я, бесспорно, и презираю русских, до отвращения. Аномалия.

(За нумизматикой).

* * *

На полемике с дураком П. С. я все-таки заработал около 300 р. Это 1/3 стоимости тетрадрахмы Антиоха VII Гриппа, с Палладой Афиной в окружении фаллов (2400 франков). У Нурри-бея продавалась еще тетрадрахма с Афродитой, между львом и быком, которая сидит на троне *и обоняет цветок*. Этой я не мог приобрести (обе — *уники*).

С основания мира было две философии: философия человека, которому почему-либо хочется кого-то выпороть; и философия выпоротого человека. Наша русская вся — философия выпоротого человека. Но от Манфреда до Ницше западная страдает сологубовским зудом: «Кого бы мне посечь?»

Ницше почтили потому, что он был немец, и притом — страдающий (болезнь). Но если бы *русский* и *от себя* заговорил в духе: «Падающего еще толкни», — его бы назвали мерзавцем и вовсе не стали бы читать.

(По прочтении статьи Перцова: «Между

старым и новым»).

* * *

Победа Платона Каратаева еще гораздо значительнее, чем ее оценили: это в самом деле победа Максима Максимовича над Печориним, т. е. победа одного из двух огромных литературных течений над враждебным... Могло бы и не случиться... Но Толстой всю жизнь положил за «Максима Максимовича» (Ник. Ростов, артиллерист Тушин, Пл. Каратаев, философия Пьера Безухова, — перешедшая в философию самого Толстого). «Непротивление злу» не есть ни христианство, ни буддизм: но это действительно есть *русская стихия*, — «беспорывная природа» восточноевропейской равнины. Единственные русские бунтовщики — «нигилисты»: и вот тут чрезвычайно любопытно, чем же это кончится; т. е. чем кончится единственный русский *бунт*. Но это в высшей степени объясняет силу и значительность и устойчивость и упорство нигилизма. «Надо же где-нибудь», — хоть где-нибудь надо, — побунтовать»: и для 80-миллионного народа, конечно, — «это надо». Косточки устали все только «терпеть».

(Тогда же).

* * *

Бог мой! вечность моя! Отчего же душа моя так прыгает, когда я думаю о Тебе...

И все держит рука Твоя: что она меня держит — это я постоянно чувствую.

(Ночь на 25 декабря 1910 г.).

* * *

Я задыхаюсь в мысли. И как мне приятно жить в таком задыхании. Вот отчего жизнь моя сквозь тернии и слезы есть все-таки наслаждение.

(На Зелениной).

* * *

Меня даже глупый человек может «водить за нос», и я буду знать, что он глупый и что даже ведет меня ко вреду, наконец — «к вечной гибели», и все-таки буду за ним идти. «К чести моей» следует, однако, заметить, что $1/2$ случаев, когда меня «водят за нос», относится к глубокой, полной моей неспособностью сказать человеку — «дурак», как и: — «ты меня обманываешь». Ни разу в жизни не говорил. И вот единственно, чтобы не ставить «ближнего» в неловкое положение, я делаю вид,

иногда годы, что все его указания очень умны или что он *comme il faut*⁷ и бережет меня. Еще 1/4 случаев относится к моему глубокому (с детства) безразличию к внешней жизни (если не опасность). Но 1/4, однако, есть проявление чистого минуса и безволия, — без внешних и побочных объяснений

.....
.....

Иное дело — мечта: тут я не подвигался даже на скрупул ни под каким воздействием и никогда; в том числе даже и в детстве. В этом смысле я был совершенно «не воспитывающийся» человек, совершенно не поддающийся «культурному воздействию».

Почти пропорционально отсутствию *воли к жизни* (к реализации) у меня было упорство *воли к мечте*. Даже, кажется, еще постоянное, настойчивее... именно — не «подвинулось ни на скрупул» и «не уступило ничему».

На виду я — *всесклоняемый*.

В себе (субъект) — *абсолютно несклоняем*, «несогласуем». Какое-то «наречие».

* * *

⁷ Приличный (человек) (*фр.*).

Я похож на младенца в утробе матери, но которому вовсе не хочется родиться. «Мне и тут тепло»...

(На извозчике, ночью).

* * *

Авраама призвал Бог: а я сам призвал Бога...
Вот вся разница.

Все-таки ни один из библеистов не рассмотрел этой *особенности и странности библейского рассказа*, что ведь не Авраам искал Бога, а Бог *хотел Авраама*. В Библии даже ясно показано, что Авраам *долго уклонялся от заключения завета*... Бегал, но Бог схватил его. Тогда он ответил: «Теперь я буду верен Тебе, я и потомство мое».

(За нумизматикой).

* * *

Ни о чем я не тосковал так, как об *унижении*. «Известность» иногда радовала меня, — чисто поросячим удовольствием. Но всегда это бывало ненадолго (день, два): затем вступала прежняя тоска — быть, напротив, униженным.

(На обороте транспаранта).

* * *

О своей смерти: «Нужно, чтобы этот *сор* был выметен из мира». И вот, когда настанет это «*нужно*» — я умру.

(На обороте транспаранта).

* * *

Я не нужен: ни в чем я так не уверен, как в том, что я *не нужен*.

(На обороте транспаранта).

* * *

Милые, милые люди: сколько вас прекрасных я встретил на своем пути. По времени первая — Ю(лия). Проста, самоотверженна. Но как звезда среди всех — моя «безымянница»... «Бог не дал мне твоего имени, а прежде я не хочу носить, потому что...» И она «никак» себя называла, т. е. называла под письмами одним *крестильным именем*. Я смеюсь: «Да ведь *так* себя царицы подписывают, великие князья». Она не понимала, не возражала, но продолжала писать одно имя: «В.....». Я взял от него один из своих псевдонимов.

(На обороте транспаранта).

* * *

Литература есть самый отвратительный вид торга. И потому удвоенно-отвратительный, что тут замешивается несколько таланта. И что «торгуемые вещи» суть действительные духовные ценности.

(На обороте транспаранта).

* * *

Унижение всегда переходит через несколько дней в такое душевное сияние, с которым не сравнится ничто. Не невозможно сказать, что некоторые, и притом высочайшие, духовные просветления недостижимы без предварительной униженности, что некоторые «духовные абсолютности» так и остались навеки скрыты от тех, кто вечно торжествовал, побеждал, был на верху.

Как груб, а посему и как несчастен, Наполеон... После Иены он был жалчее, нежели нищий-праведник, которому из богатого дома сказали — «Бог даст».

Не на этой ли тайне всемирной психологичности (если она есть, т. е. всемирная психологичность) основано то, что наконец «Он

захотел пострадать?..»

Как *мы* лучше после страдания?.. Не на этом ли основан «выигрыш без проигрыша» демократии?.. Она вовсе не рождается «в золотых пеленках» морали; «с грешком», как и все. Но она — «в нижнем положении»; и нравственный ореол привлек к ней всех...

(На обороте транспаранта).

* * *

Правда выше солнца, выше неба, выше Бога: ибо если и *Бог* начинался бы *не с правды* — он — *не* Бог, и небо — трясины, и солнце — медная посуда.

(На обороте транспаранта).

* * *

Как бы Б. на веки вечные указал человеку, *где* можно с ним *встретиться*.

«Ищи меня не в лесу, не в поле, не в пустыне», ни — «на верху горы», ни — «в долине низу» — «ни в водах ни под землею», а... *где Я* заключил завет «с отцом вашим Авраамом».

Поразительно. Но *куда же* это приводит размышляющего, доискивающегося,

угадывающего?

Но, в таком случае, *как понятно*, почему а-сексуалисты суть в то же время а-теисты: они «не встречаются с Богом», «не видели», «не слышали», «не знают».

* * *

Душа есть *страсть*.

И отсюда отдаленно и высоко: «Аз есмь огонь поедающий» (Бог о Себе в Библии).

Отсюда же: талант нарастает, когда нарастает страсть. Талант есть страсть.

(Ночью на извозчике).

* * *

— Подавайте, Василий Васильевич, за октябристов, — кричал Боря, попыхивая трубочкой.

— Твои октябристы, Боря, болваны: но так как у жены твоей у-ди-ви-тельные плечи, а сестра твоя целомудренна и неприступна, то я подам за октябристов.

И подал за них (в 3-ю Думу): так как квартиры д-ра Соколова (старшина эсдеков в СПб., — где-то на Греческом проспекте) не мог найти, а проклятый

«бюллетень», конечно, потерял в тот же день, как получил.

* * *

— Какие события! Какие события! Ты бы, Василий Васильевич, что-нибудь написал о них, — говорил секретарь «нашей газеты», милейший Н.И. Афанасьев, проходя по комнате.

У него жена француженка и не говорит вовсе по-русски. Не понимаю, как они объясняются «в патетические минуты»: нельзя же в полном безмолвии...

«Какие, чёрт возьми, события?» А я ищу «тем для статей». Читая газеты, разумеется — ищу мелкие шрифты, где позанимательнее, не читать же эти фельетонищи и передовые, на которые надо убить день.

— Какие, Николай Иванович, «события»?

— Да как же, — отвечает совсем от двери, — о «свободе вероисповеданий, отмене подушной подати», и чуть не пересмотр всех законов.

— В самом деле, «события»: и если понапречься — то можно сколько угодно написать передовых статей.

Это было чуть ли не во время, когда шумели Гапон и Витте. Мне казалось — ничего особенного не происходит. Но это его задумчивое бормотание

под нос: «Какие события» — как ударило мне в голову.

* * *

Поразительно, что иногда я гляжу во все глаза на «событие», и даже пишу о нем статьи, наконец — *произношу о нем глубоко раздельные слова* ясного, значительного смысла, в уровень и в «сердцевину» события: и между тем совершенно его *не вижу, не знаю*, ничего о нем определенного не думаю, и «хочу ли» его или «не хочу» — сам не знаю. Я сам порадовался (душою), когда ухом услышал *свои же* слова:

— Господа! Мы должны радоваться не тому, что манифест дан: но что он *не мог не быть дан, что мы его взяли!*

Это когда Столыпин (А.А.), войдя в общую комнату, где были все «мы», сказал, что «Государь подписал манифест» (17 октября)... Все заволновались, и велели подать шампанское. Тут я, вдруг сделавшись торжественно-настроен, с чем-то «величественным в душе» (прямо чувствовал теплоту, в груди) и сказал эти слова, которые ведь были «в сердцевину» события...

Между тем мне в голову не приходило, что дело идет *о конституции*. До такой степени, что когда я пошел домой, то только с этой мыслью, что

дня на три, а может — дней на пять, можно отдохнуть от писания статей. Пришел домой и сказал это, и сказал, что завтра и послезавтра не надо идти в редакцию. Сообразно этому на завтра я велел приготовить себе белье, и отправился на Знаменскую в бани, лежать на полке в горячем пару, «отложив все попечения» (моя в своем роде «херувимская»)… И вечером что-то возился около бумаг, монет и около чая.

Вдруг *послезавтра* узнаю, что «*вчера* шли по Невскому с красными флагами»!!!.. *единственный* и *первый раз* в русской истории, при «*благосклонном сочувствии полиции*»… Единственная минута, единственное ощущение, единственное переживание.

Ведь я же *это понимаю*.

О, да!!!

Но я «пролежал в пару». У меня *есть затаенность души*: «событием» я буду — *и глубоко, как немногие*, — жить через три года, через несколько месяцев после того, как его *видел*. А когда *видел* — ничего решительно *не думал* о нем. А думал (страстно и горячо) о том, что было *еще три года назад*. Это всегда у меня, с юности, с детства.

* * *

Народы, хотите ли я вам скажу громовую истину какой вам не говорил ни один из пророков...

— Ну? Ну?.. Хх...

— Это — что частная жизнь выше всего.

— Хе-хе-хе!.. Ха-ха-ха!.. Ха-ха!..

— Да, да! Никто этого не говорил; я — первый... Просто, сидеть дома и хотя бы ковырять в носу и смотреть на закат солнца.

— Ха, ха, ха...

— Ей-ей: это — *общее* религии... Все религии пройдут, а это останется: просто — сидеть на стуле и смотреть вдаль.

(23 июля 1911).

* * *

Боже, Боже, зачем Ты забыл меня? Разве Ты не знаешь, что всякий раз, как Ты забываешь меня, я теряюсь.

(Опыты).

* * *

...Я разгадал тетраграмму, Боже, я разгадал ее. Это не было *имя как* «Павел», «Иоанн», а был зов: и произносился он даже *тем же самым индивидуумом* не всегда совершенно (абсолютно)

одинаково, а чуть-чуть изменяясь в тенях, в гортанных придыханиях... И не *абсолютно одинаково* — разными первосвященниками. От этой нетвердости произношения в конце концов «тайна произнесения его» и затерялась в веках. Но, поистине, благочестивые евреи и до сих пор иногда произносят его, *но только не знают — когда*. Совершенно соответствует моей догадке и то, что «кто *умеет произнести тетраграмму* — владеет миром», т. е. через Бога. В самом деле, тайна этого зова заключается в том, что Бог *не может не отозваться на него*, и «является *тут*» со всем своим могуществом. Тенями проходит в самосознании евреев и тайна, что не только *им* Бог нужен, но что *и они Богу нужны*. Отсюда — этнографическая и религиозная гордость; и что они *требуют у* Бога, а не всегда только *просят* Его...

Но все это заключено в зове-вздохе... Он состоял из одних гласных с придыханиями.

* * *

Толстой прожил, собственно, глубоко *пошлую* жизнь... Это *ему* и на ум никогда не приходило.

Никакого страдания; никакого «тернового венца»; никакой героической борьбы за убеждения; и даже никаких особенно интересных приключений. Полная пошлость.

Да, — приключения «со своими идеями»... Ну, уж это — антураж литературный, и та же пошлость, только вспрыснутая духами.

* * *

Мне кажется, Толстого мало любили, и он это чувствовал. Около него не раздалось, при смерти, и даже при жизни, ни одного «мучительного крика вдруг», ни того «сумасшедшего поступка», по которым мы распознаем настоящую привязанность. «Все было в высшей степени благоразумно»; и это есть именно печать пошлости.

* * *

Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали. Миллион лет прошло, пока моя душа выпущена была погулять на белый свет: и вдруг бы я ей сказал: ты, душенька, не забывайся и гуляй «по морали».

Нет, я ей скажу: гуляй, душенька, гуляй, славненькая, гуляй, добренькая, гуляй как сама знаешь. А к вечеру пойдешь к Богу.

Ибо жизнь моя есть день мой, и он именно *мой день*, а не Сократа или Спинозы.

(Вагон).

* * *

Двигаться хорошо с запасом большой тишины в душе; например, путешествовать. Тогда все кажется ярко, осмысленно, все укладывается в хороший результат.

Но и «сидеть на месте» хорошо только с запасом большого движения в душе. Кант всю жизнь сидел: но у него было в душе столько движения, что от «сиденья» его двинулись миры.

* * *

«Счастье в усилении»,
говорит молодость.

«Счастье в покое»,
говорит смерть.

«Все преодолею»,
говорит молодость.

«Да, но все
кончится», говорит
смерть.

(Эйдукунен — Берлин, вагон).

* * *

Даже не знаю, через «Ъ» или «е» пишется «нравственность».

И кто у нее папаша был — не знаю, и кто мамаша, и были ли деточки, и где адрес ее — ничегошеньки не знаю.

(О морали. СПб. — Киев, вагон).

* * *

Мережковский всегда строит из чужого материала, но с чувством родного для себя. В этом его честь и великодушие.

Отчего идеи мои произвели на Михайловского впечатление *смешного*, и он сказал: «Это как у Кифы Мокиевича»; а на Мережковского — впечатление *трагического*, и он сказал: «Это такое же бурление, как у Ницше, это — *конец* или во всяком случае страшная *опасность* для христианства». Почему? Мережковский (явно) понял *сильными честным* умом то, чего Михайловский не понял и по бессилию и по недобросовестности ума, — ума ленивого, чтобы проработать *чужие темы*, темы *не своего лагеря*. Между тем «семья» и «род», на которых у меня все построено, Мережковскому еще отдаленнее и ненужнее, чем Михайловскому; *даже враждебны Мережковскому*.

Но Мережковский схватил душой — не сердцем и не умом, а *всей* душой — эту мою мысль, уроднил ее себе, сопоставил с миром христианства, с зерном этого мира — аскетизмом; и постиг целые миры. Таким образом, он «открыл семью» *для себя, внутренне* открыл, — под толчком, под указанием моим. И это есть в полном значении «открытие» *его*, новое для него, вполне и безусловно *самостоятельное его открытие* (почему Михайловский не открыл?). Я дал компас, и, положим, сказал, что «на западе есть страны». А он открыл Америку. В этом его уроднении с чужими идеями есть великодушие. И Бог его наградил.

(Луга — Петербург, вагон).

* * *

О, мои грустные «опыты»... И зачем я захотел *все знать*. Теперь уже я не умру спокойно, как надеялся...

(1911).

* * *

«Человек о многом говорит интересно, но с аппетитом — только о себе» (Тургенев). Сперва мы смеемся этому выражению, как очень удачному...

Но потом (через год) становится как-то грустно: бедный человек, у него даже хотят отнять право поговорить о себе. Он не только боли, нуждайся, но... и *молчи* об этом. И остроумие Тургенева, который хотел обличить человека в цинизме, само кажется цинично.

Я, напротив, замечал, что *добрых* от *злых* ни по чему так нельзя различить, как по выслушиванию ими этих рассказов чужого человека о себе. Охотно слушают, не скучают — верный признак, что этот слушающий есть добрый, ясный, простой человек. С ним можно водить дружбу. Можно ему довериться. Но не надейтесь на дружбу с человеком, который скучает, вас выслушивая: он думает только о себе и занят только собою. Столь же хороший признак *о себе* рассказывать: значит, человек чувствует в окружающих братьев себе. Рассказ другому есть выражение расположения к другому.

Мне очень печально сознаться, что я не любил ни выслушивать, ни рассказывать. Не *умел* даже этого. Это есть тот признак, по которому я считаю себя дурным человеком.

Шперк мне сказал однажды: «Не в намерениях ваших, не в идеях — но *как в человеке* в вас есть что-то нехорошее, какая-то нечистая примесь, что-то мутное в организации или в крови.

Я не знаю что, — но чувствую». Он очень любил меня (мне кажется, больше остальных людей, — кроме ближних). Он был очень проницателен, знал «корни вещей». И если это сказал, значит, это верно.

«Дурное в нас есть рок наш. Но нужно знать *меру* этого рока, *направления его*, и «отсчитывать по градусам», как говорят о термометрах, которые тоже врут, все, но ученые с этим справляются, внося поправки.

Хотел ли бы я быть только хорошим? Было бы скучно. Но чего я ни за что не хотел бы, — это быть злым, вредительным. Тут я предпочел бы умереть. Но я был в жизни всегда ужасно неуклюжий. Во мне есть ужасное уродство поведения, до неумения «встать» и «сесть». Просто, не знаю *как*. И не понимаю, *где* лучше (сесть, встать, заговорить). Никакого сознания горизонтов. От этого в жизни, чем больше я приближался к людям, — становился все неудобнее им, жизнь их становилась от моего приближения неудобнее. И от меня очень многие и притом чрезвычайно страдали: без всякой моей воли.

Это — рок.

К вопросу о *неуместности* человека. Как-то стою я в часовенке, при маленьком сквере около

Владимирской церкви, на Петербургской стороне. Может, и в самой церкви — забыл — было лет 14 назад. И замечаю, что я ничего не слышу, что читают и поют. А пришел *с намерением* слушать и умилиться. Тогда я подумал: «Точно я *иностранец* — во всяком месте, во всяком часе, где бы ни был, когда бы ни был». Все мне чуждо, и какой-то странной, на *роду* написанной, отчужденностью. Что бы я ни делал, кого бы ни видел — не могу ни с чем слиться. «Несовокупляющийся человек», — духовно. Человек solo.

Всё это я выразил словом «иностранец», которое у меня прошепталось как величайшее осуждение себе, как величайшая грусть о себе, в себе.

Это — тоже рок.

«Какими рождаемся — таковы и в могилку». Тут какие-то особенные законы зачатия. Наследственность. Тут какой-то миг мысли, туман мысли или *безмыслия* у родителей, когда они зачинали меня: и в ребенке это стало непоправимо.

«Неизбежное»...

«Иностранец»... «Где ушибемся, там и *болит*»: не от этого ли я так бесконечно люблю человеческую *связанность*, людей в *связанности*,

во взаимном *миловании, ласкании*. Здесь мой пафос к ним, так сказать, валит все заборы: ничего я так не ненавижу, ничему так не враждебен, как всему, что *разделяет* людей, что мешает им *слиться, соединиться*, стать «*в одно*», надолго, на время — я даже не задаю вопроса. Конечно — лучше на вечность: а если нельзя, то хоть на сколько-нибудь времени. Это — конечно, доброта: но не замечательно ли, что она вытекла из недоброты, из личного несчастья, порока. Вот связь вещей. И как не скажешь «Судьба! Рок»...

* * *

С какой печалью читал (август 1911 г.) статьи Изгоева об университете... Автор нигде не говорит: «Забастовки мерзость», хотя и чувствует это, сознает это, говорит, но «эзоповым языком»... Отчего же он *явно не говорит*? Студенты — еще мальчики, и оттого, что он *отчетливо* не выговорит «мерзость», непременно скажут: «И он — *за забастовку*». Каким образом можно вводить юношество в такой обман и самообман?

Отчего эта боязнь?

Как темно все вокруг юношества, как мало можно винить его за то, что оно «потеряло голову» и идет в пропасть, среди аплодисментов печати.

Подлая печать.

И все это причитанье — «Кассо виноват» Кассо составляет всего *одного* подписчика на «Русскую Мысль», а «примыкающие к университету» читатели — *тысячи* подписчиков. И из-за нескольких сот рублей, ну 2-3-х тысяч рублей, делается злодеяние над молодежью.

Из авторов «Вех» только двое — Гершензон, Булгаков — не разочаровали меня.

И какая это несчастная вещь — писать «обозрение» политики. Как не впасть в ложь. Между тем ведь душа — бессмертна. Как выше религия политики.

* * *

По фону жизни проходили всякие лоботрясы: зеленые, желтые, коричневые, в черной краске...

И Б. всех их описывал: и как шел каждый, и как они кушали свой обед, и говорили ли с присюсюкиванием или без присюсюкивания.

Незаметно в то же время по углам «фона» сидели молчаливые фигуры... С взглядом задумавшихся глаз... Но Б. никого из них не заметил.

(О Боборыкине, «75-летие»).

* * *

Знаете ли вы, что религия есть самое важное, самое первое, самое нужное? Кто этого не знает, с тем не для чего произносить «А» споров, разговоров.

Мимо такого нужно просто *пройти*. Обойти его *молчанием*.

Но кто это знает? Многие ли? Вот отчего в наше время почти *не о чем*, и *не с кем* говорить.

* * *

Связь пола с Богом — большая, чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом, — выступает из того, что все а-сексуалисты обнаруживают себя и а-теистами. Те самые господа, как Бокль или Спенсер, как Писарев или Белинский, о «поле» сказавшие не больше слов, чем об Аргентинской республике, очевидно не более о нем и думавшие, в то же время до того изумительно атеистичны, как бы никогда до них и вокруг них и не было никакой религии. Это буквально «некрещеные» в каком то странном, особенном смысле. Суть «метерлинковского поворота» за 20–30 лет заключалась в том, что очень много людей начали «смотреть в *корень*» не в прутковском, а в розановском смысле: стал всем интересен его пол, *личный свой* пол. Вероятно, тут

произошло что-нибудь в семени (и яйце): замечательно, что теперь стали *уже рождаться* другими, чем лет 60–70 назад. Рождается «новая генерация»... Одна умная матушка (А.А. А-ова) сказала раз: «Перелом теперь в духовенстве все больше сказывается в том, какое множество *молодых матушек* страдает бесплодием». Она недоговорила ту мысль, которую через год я услышал от нее: именно, что «не жены священников не зачинают; а их *мужья не имеют сил зачать в них*». Поразительно.

Вот в этом роде что-то произошло и во всей метерлинковской генерации. Произошло не в образе мыслей, а в поле; — и *уже потом и в образе мысли*.

* * *

Хочу ли я, чтобы очень распространялось мое учение?

Вышло бы большое волнение, а я так люблю покой... и закат вечера, и тихий вечерний звон.

* * *

Мне собственно противны те недостатки, которых я не имею. Но мои *собственные недостатки*, когда я их встречаю в других,

нисколько не противны. И я бы их никогда не осудил.

Вот *граница* всякого суждения, т. е. что оно «компетентно» или «некомпетентно»; насколько «на него можно положиться». Все мы «с хвостиками», но обращенными в разные стороны.

(За нумизматикой).

* * *

Благородное, что есть в моих сочинениях, вышло не из меня. Я умел только, как женщина, воспринять это и выполнить. Все принадлежит гораздо лучшему меня человеку.

Ум мой и сердце выразились только в том, что я всегда мог поставить (увидеть) другого выше себя. И это всегда было легко, даже счастливо. Слава Богу, завидования во мне вовсе нет, как и «соперничество» всегда было мне враждебно, не нужно, посторонне.

* * *

Постоянно что-то делает, что-то предпринимает...

(Еврей).

* * *

Семья есть самая *аристократическая* форма жизни... Да! — при несчастиях, ошибках, «случаях» (ведь «случаи» бывали даже в истории Церкви) все-таки это единственная аристократическая форма жизни.

Семейный сапожник не только счастливее, но он «вельможнее» министра, «расходующего не менее 500 руб. при всяком докладе» («на чай» челяди — слова И. И. Т. мне). Как же этой аристократической формы жизни можно лишать кого-нибудь? А Церковь нередко лишает («запрещения», «епитимьи», «степени родства» — 7-я вода на киселе). Замечательно, что «та книга» начинается с развода: «*Не ту* женщину имеешь женою себе». — «А тебе какое дело? Я на тебе вшей не считал в пустыне». Вот уже где началось разодрание основных слов. Никогда Моисей не «расторг» ни одного брака; Ездра «повелел оставить вавилонянок», но за то он и был только «Ездрую», ни — святой и ни — пророк.

Этому «Ездре» я утер бы нос костромским платком. Не *смел* расторгать браков. Не по Богу. Семя Израиля приняли; — и «отторгаться *мне* от лона *с моим семенем*» — значит *детоубийствовать*.

* * *

20 лет я живу в непрерывной поэзии. Я очень наблюдателен, хотя и молчу. И вот я не помню дня, когда бы не заметил в ней чего-нибудь глубоко поэтического, и видя что или услыша (ухом во время занятий) — внутренне навернется слеза восторга или умиления. И вот отчего я счастлив. И даже от этого хорошо пишу (кажется).

(Луга — Петерб., вагон).

* * *

Хочу ли я действовать на жизнь? Иметь влияние?

Не особенно.

* * *

ВАША МАМА

(Детям)

И мы прожили тихо, день за днем, многие годы. И это была лучшая часть моей жизни.

(25 февраля 1911 г.).

* * *

Мне как-то печально (или страшно) при мысли, что «как об умершем» и «тем более был писатель» обо мне станут говорить с похвалою.

Может быть, это и будет основательно: но ведь в оценку не войдет «печальный матерьял». И, получая «не по заслугам», мне будет стыдно, мучительно, *преступно* «на том свете».

Если кто будет любить меня после смерти, пусть об этом промолчит.

(Луга — Петербург, вагон).

* * *

Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти.

Или еще:

Это — золотые рыбки, «играющие на солнце», но помещенные в аквариуме, наполненном навозной жижицей.

И не задыхаются. Даже «тем паче»...
Неправдоподобно. И однако — *так*.

Б. всего меня *позолотил*.

Чувствую это...

Боже, до чего чувствую.

Каждая моя строка есть священное писание

(не в школьном, не в «употребительном» смысле), и каждая моя мысль есть священная мысль, и каждое мое слово есть священное слово.

— Как вы смеете? — кричит читатель.

— Ну вот так и «смею», — смеюсь ему в ответ я.

Я весь «в Провидении»... Боже, до чего я это чувствую.

Когда, кажется на концерте Гофмана, я услышал впервые «Франческу да Римини», забывшись, я подумал: «Это моя душа».

Т место музыки, где так ясно слышно движение крыл (изумительно!!!).

«Это моя душа! Это моя душа!»

Никогда ни в чем я не предполагал даже такую *массу внутреннего движения*, из какой, собственно, сплетены мои годы, часы и дни.

Несусь как ветер, не устаю как ветер.

— Куда? зачем?

И наконец:

— Что ты любишь?

— Я люблю мои ночные грезы, — прошепчу я встречному ветру.

(Глубокой ночью).



Старость, в постепенности своей, есть развязывание привязанности. И смерть — окончательный холод.

Больше всего, к старости, начинает томить неправильная жизнь: и не в смысле, что «мало наслаждался» (это совсем не приходит на ум), — но что не сделал *должного*.

Мне, по крайней мере, идея «долга» только и начала приходить под старость. Раньше я всегда жил «по мотиву», т. е. по аппетиту, по вкусу, по «что хочется» и «что нравится». Даже и представить себе не могу такого «беззаконника», как я сам. Идея «закона» как «долга» никогда даже на ум мне не приходила. «Только читал в словарях, на букву *Д* .». Но не знал, что это, и никогда не интересовался. «Долг выдумали жестокие люди, чтобы притеснить слабых. И только дурак ему повинуется». Так приблизительно...

Только всегда была у меня *жалость*. Но это тоже «аппетит» мой; и была благодарность, — как мой *вкус*.

Удивительно, как я уделывался с *ложью*. Она никогда не мучила меня. И по странному

мотиву: «А какое вам дело до того, что я в точности думаю», «чем я обязан говорить свои настоящие мысли». Глубочайшая моя субъективность (пафос субъективности) сделала то, что я точно всю жизнь прожил за занавескою, неснимаемую, нераздираемую. «До этой занавески никто не смеет коснуться». Там я жил; там, *с собою*, был правдив... А что говорил «по сю сторону занавески», — до правды этого, мне казалось, никому дела нет. «Я должен говорить *полезное*». «Ваша критика простирается только на то, *пользу ли я говорю*» — «да и то условно: если вред — то *не принимайте*». Мой афоризм в 35 лет: «Я пишу не на гербовой бумаге» (т. е. всегда можете разорвать).

Если, тем не менее, я в большинстве (даже всегда, мне кажется) писал искренне, то это не по любви к правде, которой у меня не только не было, но «и представить себе не мог», — а по небрежности. Небрежность — мой отрицательный пафос. Солгать — для чего надо еще «выдумывать» и «сводить концы с концами», «строить», — труднее, чем «сказать то, что есть». И я просто «клял на бумагу, что есть»: что и образует всю мою правдивость. Она натуральная, но она не нравственная.

«Так расту»: «и если вам не нравится — то и не смотрите».

Поэтому мне часто же казалось (и может быть

так и есть), что я самый правдивый и искренний писатель: хоть тут не содержится ни скрупула нравственности.

«Так меня устроил Бог».

* * *

Слияние своей жизни, *fatum*'а, особенно мыслей и, главное, писаний с Божеским «хочу» — было постоянно во мне, с самой юности, даже с отрочества. И отсюда, пожалуй, вытекла моя небрежность. Я потому был небрежен, что какой-то внутренний голос, какое-то непреодолимое внутреннее убеждение мне говорило, что все, что я говорю — хочет Бог, чтобы я говорил. Не всегда это бывало в одинаковом напряжении: но иногда это убеждение, эта вера доходила до какой-то раскаленности. Я точно весь делался *густой*, душа делалась густою, мысли совсем приобретали особый строй, и «язык сам говорил». Не всегда в таких случаях бывало перо под рукой: и тогда я *выговаривал*, что было на душе... Но я чувствовал, что в «выговариваемом» был такой напор силы («густого»), что не могли бы стены выдержать, сохраниться учреждения, чужие законы, чужие тоже «убеждения»... В такие минуты я чувствовал, что говорю какую-то абсолютную правду, и «под точь-в-точь таким углом наклона», как это есть

в мире, в Боге, в «истине в самой себе». Большею частью, однако, это не записалось (не было пера).

* * *

Чувства *преступности* (как у Достоевского) у меня никогда не было: но всегда было чувство бесконечной своей *слабости*...

Слабым я стал делаться с 7–8 лет... Это — странная потеря своей воли над собою, — над своими поступками, «выбором деятельности», «должности». Например, на факультет я поступил потому, что старший брат был «на таком факультете», без всякой умственной и вообще без всякой (тогда) связи с братом. Я всегда шел «в отворенную дверь», и мне было все равно, «которая дверь отворилась». Никогда в жизни я не делал *выбора*, никогда в этом смысле не *колебался*. Это было странное безволие и странная безучастность. И всегда мысль «Бог *со мною*». Но «в какую угодно дверь» я шел не по надежде, что «Бог меня *не оставит*», но по единственному интересу «к Богу, который *со мною*», и по вытекшей отсюда безынтересности, «в какую дверь войду». Я входил в дверь, где было «жалко» или где было «благодарно...» По этим двум мотивам все же я думаю, что я был добрый человек: и Бог за это многое мне простит.



Сколько у нас репутаций если не литературных (литературной — ни одной), то журнальных, обмоченных в юношеской крови. О, если бы юноши когда-нибудь могли поверить, что люди, никогда их не толкавшие в это кровавое дело (террор), любят и *уважают* их, — бесценную вечную их душу, их темное и милое «будущее» (целый мир), — больше, чем эти их «наушники», которым они доверились... Но никогда они этому не поверят! Они думают, что одиноки в мире, покинуты: и что одни у них остались «родные», это — кто им шепчет: «Идите впереди нас, мы уже стары и дрянцо, а вы — героичны и благородны». Никогда этого шепота дьявола не было разобрано. Некрасов, член английского клуба, партнер миллионеров, толкнул их более, чем кто-нибудь, стихотворением: «Отведи меня в стан *погибающих*». Это стихотворение поистине все омочено в крови. Несчастнее нашего юношества, правда, нельзя никого себе вообразить. Тут проявляется вся наша действительность, «похожая (по бессмыслию) на сон», поддерживавшая в юношах эту черную и горькую мысль («всеми оставлены»). В самом деле, что они видели и слышали от чугунных генералов, от